

18+

ВИКТОРИЯ НАЙДЕНОВА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ИСПОВЕДЬ ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРАЯ УШЛА ИЗ ИНДУСТРИИ ЧУДЕС



Виктория Найденова

**Исключительные. Исповедь
женщины, которая ушла
из индустрии чудес**

«Издательские решения»

Найденова В. А.

Исключительные. Исповедь женщины, которая ушла из индустрии чудес / В. А. Найденова — «Издательские решения»,

Автор — практиковавший ченнелер, соосновательница закрытой школы — описывает устройство отрасли: как формируется спрос на чудо, какими приёмами работает практик, как происходит передача ответственности за собственную жизнь. Заключительная часть посвящена возвращению к доказательному подходу и работе с клинической психологией. Издание адресовано читателям, имевшим опыт обращения к эзотерическим практикам, их близким, а также специалистам помогающих профессий.

© Найденова В. А.

© Издательские решения

Содержание

Прежде чем мы начнём	7
Часть первая.	9
Глава первая. Четырнадцатая	9
Глава вторая.	12
Глава третья.	14
Глава четвёртая.	17
Глава пятая.	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Исключительные Исповедь женщины, которая ушла из индустрии чудес

Виктория Анатольевна Найденова

© Виктория Анатольевна Найденова, 2026

ISBN 978-5-0070-8967-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Все права защищены.

CLIRIUM ME — авторская система трансформации, разработанная Викторией Найденовой. Название системы, её структура, содержание и учебные материалы принадлежат автору. Воспроизведение, переработка и коммерческое использование без письменного разрешения правообладателя не допускаются.

18+

Правовая оговорка

Книга основана на личном опыте автора. Имена частных лиц, названия школ и организаций, а местами и даты изменены, узнаваемые детали смещены или убраны. Отдельные эпизоды объединены или изложены в художественной форме. Совпадения с реальными частными лицами непреднамеренны.

Люди, чья деятельность публична, названы подлинными именами. Сведения о них взяты из открытых источников либо описывают события, участником или очевидцем которых был автор. Оценки и суждения в книге — личное мнение автора; они не являются утверждениями о фактах и не имеют целью опорочить чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию.

Книга написана по воспоминаниям. Автор излагает события так, как их запомнила и восприняла; память избирательна, и отдельные детали могли сохраниться неточно. Автор не заявляет о документальной точности хронологии, реплик и деталей.

Ни одно утверждение в книге не является обвинением названных лиц или организаций в совершении преступлений либо иных нарушений закона. Упоминание человека, школы или направления не означает, что автор вменяет им противоправные действия.

Суждения об эффективности тех или иных практик — личный опыт и личное мнение автора. Автор не претендует на научную оценку и не выступает от имени профессионального сообщества.

Книга не является предложением услуг, публичной офертой или рекламой. Упоминание проектов автора носит справочный характер. За содержание внешних ресурсов, названных в книге, автор ответственности не несёт.

Автор готова рассмотреть обоснованные замечания по фактической стороне изложенного. Обращения принимаются по адресу в конце книги; подтверждённая неточность будет исправлена в следующих изданиях.

Книга мемуарная. Она не заменяет консультации врача, клинического психолога или иного лицензированного специалиста и не является медицинской, психологической, юридической или финансовой рекомендацией.

Практики, описанные в книге, — длительный отказ от пищи, ограничительные диеты, отказ от врачебной помощи, обращение к людям без лицензии — приведены как часть личной истории и как предостережение. Повторять их автор не рекомендует и ответственности за последствия не несёт.

Суммы, цены и число сессий, названные в книге, относятся к отдельным эпизодам и приведены по памяти автора. Практика велась нерегулярно, с перерывами: приём открывался не каждый день и не каждую неделю. Приведённые цифры не описывают постоянный доход, не являются отчётностью и не пригодны для каких-либо расчётов.

Ответственность за решения, принятые на основании прочитанного, остаётся на читателе.

Если, читая, вы узнаете себя или близкого человека и вам тяжело — обратитесь к врачу, клиническому психологу или в службу экстренной психологической помощи в вашем регионе.

Прежде чем мы начнём

Я не знаю, как эта книга попала к тебе в руки. Но почти наверняка ты — один из четырёх человек.

Может быть, ты прошёл десятки тренингов, ретритов, расстановок, сессий у ченнелеров и тарологов. Вложил годы и деньги. И где-то глубоко уже чувствуешь, что жизнь так и не изменилась, — но признать это страшно, потому что тогда придётся назвать ошибкой огромную часть своей жизни. Эта книга для тебя.

Может быть, рядом с тобой человек, который «улетел». Жена, которая разводится из-за «низких вибраций». Мать, которая лечит внуков энергиями вместо врача. Подруга, отдающая последнее очередному наставнику. Ты читаешь, чтобы понять её и не потерять. Эта книга и для тебя тоже. Может быть, ты только заглядываешь за эту дверь — сходил из любопытства, подругу послушал — и не знаешь, бежать или остаться. Эта книга для тебя.

А может быть, ты вообще не про эзотерику. Просто тебе больно, или пусто, или ты добился всего и не чувствуешь ничего. И ищешь себя. Тогда эта книга — точно для тебя, потому что она вся про это: про то, как мы ищем себя везде, кроме одного-единственного места, где мы есть. Сразу сниму то, что иначе будет мешать тебе читать.

Я не скептик со стороны, который никогда там не был и теперь умничает. Я была внутри по самую макушку. Восемь лет в закрытой школе. Шестьдесят дипломов. Очередь ко мне выстраивалась на три месяца вперёд — я работала не каждый день, и от этого запись уходила только дальше. Девяносто процентов моих слов сбывалось. Я своими глазами видела огонь, зажжённый из ладони, и воду, поднимающуюся из бочки без насоса. Я не та, у кого «не открылось» и кто теперь завидует. Я дошла до вершины этой горы — и пишу тебе уже с дороги вниз, с другой стороны.

И ещё. Я не воюю с верой. Чудеса есть — я не буду делать вид, что их нет, я слишком много видела. Я не зову тебя в плоский мир, где есть только то, что можно потрогать. Духовное настоящее существует. Просто у него отрастили целую индустрию — и вот с ней мы и разберёмся. Разделить чудо и торговлю чудом — не то же самое, что отнять у тебя небо.

И ещё одно — чтобы между нами было честно с первой страницы.

Я не разочарованный человек, который бросил дело, потому что не получилось. У меня получалось. Слишком хорошо получалось — в этом и была беда. Я ушла не от неудачи. Я ушла, когда увидела, чем плачу за этот успех сама и чем платят люди, которые ко мне приходят.

А потом сделала то, чего не делала сорок лет. Пошла учиться туда, где спрашивают «а где доказательства» и не принимают ответ «канал не ошибается», — в клиническую психологию. И там наконец узнала имя тому, что умела всю жизнь.

Сила была настоящая. Ошибалась я только в её источнике.

И последнее, что я скажу тебе на первой странице.

Если ты что-то из этого узнал про себя — с тобой всё в порядке! Тебе не должно быть стыдно за потраченные деньги и годы. Ты искал, потому что тебе было больно, а идти было некуда. Это самое человеческое, что есть. Ничего не было зря — даже эта книга нашла тебя только потому, что ты прошёл весь этот путь.

Местами читать будет неудобно. Ты будешь узнавать себя — и иногда это будет колоть. Я знаю так как прошла через это сама и веду тебя не как прокурор, а как человек, который сидел в той же яме и нашёл, где лестница. И я дам тебе одно обещание, которое прошу запомнить. Я ни разу не заберу у тебя опору, не дав взамен другую — твою собственную, настоящую, ту, что не рассыплется. Если на какой-то странице земля качнётся под ногами — это не пол проваливается. Это убирают декорацию, под которой всегда был твой собственный пол. Он выдержит. Он держал тебя всю жизнь — просто тебе говорили, что это не он. А в конце пути

я хочу, чтобы ты унёс с собой всего одну мысль. Если ты не запомнишь больше ничего — запомни это. Ты исключительный. Не потому что особенный. А потому что ты есть. Это твоё право — данное рождением, не людьми. Тебе не нужны ничьи разрешения, чтобы быть. И всё, что ты так долго искал по чужим рукам, — всё это время было внутри тебя. За это никогда не нужно было платить.

С этого мы и начнём. С той ночи, после, которой я больше не смогла жить по-старому.

Ты исключительный.
Не потому что особенный.
А потому что ты есть.



Тебе не нужны ничьи разрешения, чтобы быть.

Часть первая.

Внутри *Как рождается магическое мышление*



*«Тот, кто ищет, — уже знает,
что потерял.»*

Глава первая. Четырнадцатая

Я была уже выжата. Четырнадцатая сессия за день.

За окном серое небо, восемь вечера. Я сидела на диване, не разгибаясь с самого утра, и в голове была одна-единственная мысль — ещё два человека, и я лягу спать. Чай на столе остыл во второй раз. Я грела его, забывала, грела снова. Так всегда было в те дни: время переставало ощущаться, оставались только лица на экране и слова, которые я для них находила.

Телефон не замолкал. Все хотели знать о себе больше, чем они думают, что могут знать. Им всегда было куда написать, так как они знали, что Вика знает все ответы на их вопросы, которые не дают покоя годами. Включила следующую. Обычно люди начинают одинаково: здравствуйте, я давно слежу за вами, у меня вопрос про отношения, про деньги, про предназначение. Я слушала первые фразы и уже знала, чем всё кончится. За три с половиной года я выучила эти голоса наизусть — как кассир выучивает штрихкоды, не глядя.

Каждый хотел услышать, что его жизнь особенная. Исключительная. Одна приходила узнать, что она Екатерина Вторая в прошлой жизни. Или Клеопатра. Другой — как вложить деньги, чтобы не прогореть. Третий — выиграет ли его билетик.

Но здесь было что-то другое, эта девочка заговорила иначе. Без предисловий, без «здравствуйте», без красивых слов: я пробовала всё что могла чтобы уйти из этой жизни. У меня не получилось, поэтому у меня к вам один вопрос — как мне это сделать так чтобы наверняка на 100 процентов.

Я переспросила — решила, что ослышалась. Она повторила теми же словами. Четырнадцать лет.

Что-то во мне сдвинулось — резко, как будто кто-то выключил фоновую музыку, под которую я работала годами, и в тишине стало слышно, что происходит на самом деле. Я отменила всех. Написала остальным в очереди — извините, сегодня не смогу, перенесём — и закрыла список. Впервые за очень долгое время мне было совершенно всё равно, сколько человек ждёт и сколько денег за ними.

Я заговорила с ней. Не как ченнелер. Просто — привет. Я здесь. Расскажи, что происходит. Она рассказывала медленно. С длинными паузами — в них было слышно только её дыхание. Она сидела где-то там, в своём городе, которого я никогда не увижу, и каждый раз решала заново, говорить дальше или нет. Я не торопила. Просто ждала и слушала эту тишину.

Мама постоянно приводила новых мужчин в дом, они сменялись один другим. Каждый приходил в дом и становился отчимом. И с каждым в доме повторялось одно и то же — то, чего

не должно происходить ни с кем и никогда. Она была совсем маленькой, когда это началось. Она не помнила себя другой.

Каждый раз, когда появлялся новый, она думала: вот теперь будет иначе. Этот добрый. Этот смотрит по-человечески. Она надеялась заново — с упорством, на которое способны только дети. И каждый раз надежда заканчивалась одинаково.

Однажды она всё-таки рассказала маме. Собрала всё, что было, и рассказала. Мама выслушала. Помолчала. А потом сказала: я знаю. Но мужчины сильнее. Нам нужно на что-то жить. Придётся терпеть.

Во мне рухнуло всё в ту секунду, когда она это сказала. Я пыталась оправдать себя, что это просто мои убеждения, что так нельзя, что судить нельзя, я не палач, но в тот момент мои глаза наполнились слезами и я искренне верила в несправедливость этого мира. В моей голове крутились вопросы: за что? Почему? Как так вышло? Что за жестокость?

Я сидела перед экраном, и у меня внутри всё сжалось. Не от шока ченнелера, который «считывает чужую боль». От простого человеческого — от того, что так бывает, что вот прямо сейчас, пока я грею свой остывший чай, где-то живёт девочка, которой родной человек сказал «терпи».

В моей жизни тоже было всякое. Я много чего перенесла — хотя и совсем в другом. Мои родители живут душа в душу всю жизнь, и папа мой жив и здоров по сей день, слава Богу. Но насилие в жизни бывает разным, приходит из разных мест, и я знала изнутри, что это такое — когда боль некуда нести. Когда рассказываешь самому близкому, а он отворачивается.

И самое важное во всей этой книге, может быть.

Я ничего ей не предсказала.

За три с половиной года у меня выработался рефлекс: человеку больно — дай ему картину. Объясни, почему так. Свяжи с родом, с кармой, с уроком души, с тем, что он сам выбрал это до рождения. Дай смысл — и боль станет терпимее. Я умела это делать мгновенно, не задумываясь. Слова приходили сами.

В ту ночь слова не пришли. Точнее — я не пустила их. Потому что вдруг увидела, как пусто и страшно прозвучало бы любое из них. «Ты выбрала эту семью до рождения, чтобы пройти урок». Девочке, которую насиловали отчимы. Я представила, что говорю ей это, — и мне стало физически плохо.

Поэтому я не была ченнелером. Я спрашивала её про самое простое. Что ты ела сегодня. Спала ли вообще. Тепло ли там, где ты сейчас. Есть ли рядом хоть один живой человек, которому можно позвонить прямо сейчас, среди ночи. Не про карму. Не про предназначение. Просто, как дотянуть до утра.

Она отвечала. Сначала односложно, потом длиннее. В какой-то момент сказала: со мной так никто не разговаривал. Все или жалеют, или дают советы, или говорят, что я придумываю. А вы просто... разговариваете. Я плакала, когда слушала её. Беззвучно, зажав рот ладонью, чтобы она не услышала. Потому что поняла: я не делаю ничего особенного. Совсем ничего. Я просто рядом. И этого, оказывается, достаточно. Этого, оказывается, не хватало человеку до такой степени, что он был готов уйти.

Понимаешь? Мы думаем, что людям рядом с нами нужно что-то особенное и даже идем учиться на курсы этому, но им нужно только внимание.

К тому моменту я работала ченнелером три с половиной года. Кто такой ченнелер? Это человек, который говорит с другими «цивилизациями».

Очередь на три месяца вперёд. Клиенты из разных стран. Работала я не каждый день — потому запись и уходила так далеко. В иной день ко мне шли четырнадцать человек подряд, а назавтра я просто не открывала её вовсе: у меня было это право, и я им пользовалась. Люди писали мне в три ночи и в пять утра — из Москвы, из Дубая, из Берлина, из Нью-Йорка. Я

отвечала, и слова приходили быстро, я давно перестала понимать откуда. Девяносто процентов сбывалось — я гордилась этой цифрой как спортсменка гордится рекордом. Люди возвращались с благодарностями. Называли меня исключительной, видящей, единственной. К той ночи я верила в это абсолютно. А той ночью я впервые за три с половиной года просто слушала человека. Живая и настоящая рядом с живой. Канал молчал, и я молчала вместе с ним. Не искала образов, не ждала «потока», не думала о следующем клиенте и завтра. Просто была.

И она успокаивалась. У меня на глазах. От присутствия живого человека — и ни от чего другого. Без предсказания. Без особого дара. Без галактического языка и планетарных составов. От того, что кто-то сидит рядом в её темноте и не уходит. Без предсказаний и важности.

И ещё одно. Без этого глава была бы неправдой. Я дала ей номер горячей линии — круглосуточной, бесплатной, где отвечают люди, обученные именно этому. Попросила записать и повторить вслух, чтобы он остался не в переписке, которую можно удалить. Я не психолог и не спасатель, и в ту ночь понимала это яснее, чем за все три с половиной года. Всё, что я могла, — побыть рядом и передать её тем, кто умеет.

Под утро она сказала, что попробует ещё немного пожить.

Я помню её последние слова той ночи. Она сказала: вы первый взрослый, который не сказал мне, что всё будет хорошо. Спасибо. Я потом прокручивала это в голове раз десять. Всю жизнь я думала, что людям нужно «всё будет хорошо» — красивое, уверенное, из канала. А ей нужно было, чтобы кто-то выдержал рядом с ней правду: что сейчас — плохо. И не отвернулся.

Я не думаю, что один разговор кого-то спасает. Это было бы слишком красиво и слишком неправда. Но я знаю одно: в ту ночь живой человек рядом с живым человеком оказался сильнее, чем всё, чему меня учили в закрытых школах. Сильнее любого канала. Когда стало светать, я закрыла ноутбук и долго сидела в тишине. Чай давно остыл, я его так и не выпила. И впервые подумала то, от чего потом уже невозможно было отвернуться.

Сколько людей до неё приходили ко мне за этим же самым? За живым присутствием. За тем, чтобы кто-то просто был рядом. А я давала им красивое предсказание и отпускала. Сколько их было — за эти три с половиной года?

Я вспоминала лица. Женщину, которая в три ночи хотела знать, изменяет ли муж. Мужчину, потерявшего бизнес, который спрашивал не «что делать», а «когда вернётся». Девушку из Берлина, написавшую: я не понимаю, зачем я здесь. Я давала им всем уверенные слова. Они звучали как откровение. А нужно им было совсем другое — чтобы кто-то сел рядом и сказал: я тебя слышу. Ты не один или не одна!

Девяносто процентов сбывалось. В ту ночь я впервые подумала про остальные десять. Про тех, кому я сказала «жди» — и они ждали, годами. Про тех, кому назвала срок — и они подстроили под него жизнь. Про тех, кого, может быть, одним уверенным словом увела с их собственной дороги. Если я ошиблась хоть раз в жизни этой девочки или любого другого — это была не ошибка предсказания. Это могла быть ошибка целой жизни. И этого я больше не могла нести.

Та ночь — серое небо, восемь вечера, четырнадцатая сессия, остывший чай — стала точкой, после, которой я пошла в другую сторону. Не сразу. Не за один день. Дорога обратно заняла годы и стоила мне почти всего, что у меня было. Но обратно, в ту жизнь, я уже не вернулась.

Все эти тысячи людей не искали магию. Они искали себя. И платили мне за то, что всё это время было у них внутри — бесплатно. Я просто пока не знала, как им это сказать.

Глава вторая. Одеяло

Мне было три года.

Я помню это так ясно, как будто было вчера. Хотя обычно в три года не помнят ничего — а это помню. Такие вещи хранятся где-то отдельно от обычных воспоминаний, в особом месте, и не выцветают со временем. Папа ушёл на ночную смену. Он работал по ночам, и когда его не было дома, мама ложилась со мной — потому что я боялась оставаться одна. Мы легли вместе, она выключила свет, я прижалась к ней спиной, как привыкла. Темнота была обычной темнотой. Тёплой, домашней. Сначала. Потом одеяло начало сползать.

Медленно. Ровно. С изножья кровати — равномерно, без рывков, как будто кто-то стоит там в темноте и тянет его к себе, сантиметр за сантиметром. Не от сквозняка — окна были закрыты. Не оттого, что кто-то из нас пошевелился — мы обе лежали неподвижно и обе это чувствовали.

Мама вскрикнула. Не громко — тихо, придушенно, чужим голосом, какого я у неё никогда не слышала: включи свет, пожалуйста, скорее, я не могу встать. Она лежала как вкопанная. Взрослая женщина, моя мама, которая умела всё, — лежала и не могла поднять руку.

И тогда я почувствовала это сама. Кто-то держал меня за ноги. Не больно, не грубо, без злобы — просто тянул вниз, к краю кровати, под кровать. Спокойно и уверенно, как тянут к себе то, что считают своим.

Я вырвалась. В три года я уже понимала простую вещь, которая потом определит всю мою жизнь: раз мама не может — значит, должна я. Скатилась с кровати, добежала до выключателя в темноте, нашла его на ощупь, щёлкнула.

При свете одеяло лежало на полу.

Наполовину под кроватью — в той самой темноте, куда меня тянули. Мама сидела, белая, смотрела в сторону, в одну точку. Нас в комнате было двое. И больше никого. Мама пошевелилась — медленно, будто отмерзала. Сказала: всё хорошо, ложись спать. Подняла одеяло, легла. Больше мы об этом не говорили — ни тогда, ни потом. Некоторые вещи в нашем доме не называли вслух. Я лежала с открытыми глазами до самого утра, смотрела в потолок и слушала тишину.

С той ночи фонарик лежал прямо на постели. Не в ящике, не на тумбочке — на постели, под рукой, чтобы схватить мгновенно. Так было почти до тридцати лет.

Я придумала себе целую систему защиты. Заворачивалась в одеяло с головой так, чтобы ни одна часть тела не торчала наружу — ни рука, ни нога, ни прядь волос. Потому что то, что под кроватью, может дотянуться только до того, что снаружи. Если ты вся внутри кокона — ты в безопасности. Детская логика, которая держалась во мне десятилетиями. Опускать ноги на пол в темноте было невозможно. Там, внизу, начиналась территория того, что тянуло меня тогда. Если ночью хотелось в туалет — я звала маму. Целый год после той ночи. Потом, когда стало стыдно звать, научилась терпеть до утра — лежать и ждать, пока за окном посереет и пространство под кроватью снова станет просто полом.

Я рассказываю это не чтобы напугать. Я рассказываю это, чтобы было понятно, в каком мире я росла.

Это был мой первый опыт с тем, что живёт за пределами объяснений.

У нас дома это не было ни сказкой, ни патологией. Это было частью жизни — такой же, как погода или соседи. Домовые существовали. То, что давит по ночам, существовало. Об этом говорили спокойно, между делом, как о чём-то само собой разумеющемся.

Мои подружки — мы вечно бывали в гостях друг у друга — рассказывали, как их мам по ночам душило что-то тяжёлое. Наваливалось на грудь, не давало ни вздохнуть, ни поше-

велиться. И описания сходились до мелочей: домовой, маленький старичок с бородой, очень тяжёлый. Садится на грудь и смотрит. Девочки не сговаривались. Каждая рассказывала про свою маму, свою квартиру, свою темноту — а выходило одно и то же.

Сейчас у меня есть для этого слова, которых тогда не было. Сонный паралич. Состояние между сном и явью, когда тело ещё спит, а сознание уже проснулось, и мозг достраивает к ощущению удушья пугающую фигуру — почти всегда одну и ту же, потому что она зашита в нас глубоко, в самом древнем слое психики. Этому есть объяснение. Хорошее, честное объяснение. Но объяснение пришло потом. А тогда был только маленький старичок с бородой, который ходит из квартиры в квартиру, и одеяло, которое тянут под кровать. Когда ты растёшь в таком мире, у тебя формируется одно глубокое убеждение, которое потом ведёт тебя всю жизнь: мир не такой, каким его описывают. В нём есть что-то ещё. Что-то тёмное, что-то за гранью, что-то, чего не видят те, кто живёт «нормально». И раз оно есть — значит, есть и люди, которые умеют с ним работать. Которые знают. К которым можно прийти за защитой.

Часть моего пути в эзотерику выросла именно отсюда. Из той ночи. Из желания дать имя тому, что тянуло меня под кровать. Назвать это — и наконец перестать бояться. Я искала всю жизнь людей, которые скажут: да, это реально, мы знаем, что это, мы научим тебя защищаться. И каждый раз, когда такой человек находился, я шла за ним. Потому что трёхлетняя девочка внутри всё ещё лежала, завернувшись в одеяло с головой, и ждала, когда кто-нибудь придёт и скажет, что теперь она в безопасности.

Страх, который не назвали и не прожили, не исчезает. Он просто ждёт под кроватью — и платит за каждого, кто пообещает его прогнать.

Глава третья. Военный город

Я выросла в городе, который в девяностые называли городом сектантов. Сейчас — слава богу, или не слава богу, а как-то иначе, — но времена другие.

Дрезна. Маленький бывший военный город под Москвой — раньше тут стояли части, потом они ушли, а город остался. Пятиэтажки, рынок, одна улица с магазинами, фабрика. Зимой темнело рано, и окна светились жёлтым по всему кварталу. Рядом — Орехово-Зуево, которое называли бандитским. Если хочешь представить, где прошло моё детство: с одной стороны от нас бандиты, с другой — сектанты. А мы посередине.

Большинство людей в нашем городе просто выживали. Это была их главная задача — каждый день, без выходных. Работа, еда, зима, снова работа. Мужчины возвращались со смены и пили — не от веселья, а чтобы не чувствовать. Так жили целыми подъездами. Я смотрела на это с детства и не понимала: неужели это всё? Неужели так и надо — родиться, отработать, выпить, умереть? А ещё это было у меня в крови, и об этом стоит сказать сразу. В роду у нас шли целительницы — одна за другой, по женской линии. Мне передали всё: как читать особенные молитвы, как работать с рунами, как лить отливки, как собрать любой ритуал — хоть на привлечение, хоть могильный. Я умею это до сих пор. Руки помнят.

И я не сделала ничего из этого ни разу. Ни на кого. Никогда.

Были в роду и камни — их зовут дьявольскими пальцами. Мне их так и не отдали.

А рядом с этим выживанием жило что-то другое. Общины. Секты. Люди, которые собирались по квартирам и искали — Бога, истину, смысл, что угодно большее, чем зарплата и зима. Над ними посмеивались. Их сторонились. А я их понимала. Потому что сама всю жизнь что-то искала. Тогда ещё без слов — просто чувствовала внутри, что должно быть что-то ещё. Что мир больше, чем эта улица с магазинами.

Папа был богобоязненным человеком — тихо, всерьёз, без фанатизма. Он такой и сейчас, слава богу.

Он живёт в мире, где Бог и бесы стоят рядом с обычной жизнью. Не как образ, не как метафора из проповеди — а буквально, как соседи по площадке. Где-то рядом всегда есть добрые силы и злые, и они борются за каждого человека, и от того, как ты живёшь, зависит, кто победит. Это его настоящая, живая вера. Я выросла внутри неё.

Папа рассказывал мне истории. Про святых и про чудеса. Про деревенских знахарей и видунов, которые умели то, чего городские не умеют, — заговаривать, лечить, видеть. Про иконы, которые наказывали за неуважение. Про людей, к которым приходила беда после того, как они посмеялись над чем-то святым.

И рассказывал он так, что я сидела с открытым ртом. Как будто сам жил внутри этих историй — как будто своими глазами видел и святого, и знахаря, и наказание. У него был этот дар: прошлое в его словах оживало, становилось плотным, настоящим. Я могла слушать часами. Я люблю и уважаю его за это до сих пор — он подарил мне ощущение, что мир полон чудес. Просто потом это ощущение использовали против меня люди, которые не были моим папой. Первой книгой, которую мне подарили, была детская Библия. С картинками, для детей. Я открыла её и дошла до истории, где Бог велел отцу убить собственного сына — просто чтобы проверить его веру. И сразу задала вопрос, который, кажется, поставил папу в тупик навсегда: — Почему отец должен убить сына ради какого-то Бога?

Мне объяснили. Про веру, про послушание, про испытание. Я переспросила. Мне объяснили ещё раз, другими словами. И ещё раз. Объяснение каждый раз скользило мимо. Внутри

сидело одно простое ощущение: тут что-то не сходится. Если Бог любит — зачем велеть отцу убить сына? Если он и так всё видит — зачем такая проверка?

Я не знала тогда, что задаю вопрос, над которым богословы бьются тысячи лет. Я просто чувствовала несостыковку. И это, наверное, было первое проявление того, что потом и спасло меня, и завело очень далеко: я не умела принимать объяснение только потому, что его дают уверенным голосом взрослые. Мне нужно было, чтобы сходилось. В церкви на меня наваливалась пустота. Папа брал меня с собой, и я стояла среди людей, под высокими сводами, в запахе ладана — и не чувствовала ничего из того, что должна была чувствовать. Ни тепла, ни защиты, ни присутствия. Воздух казался закрытым, спёртым, как в комнате, которую давно не проветривали.

Я смотрела на людей вокруг. Они крестились в нужных местах, кланялись, повторяли слова. Всё правильно. Всё по чину. И всё — пустое. Как будто все играют роли в спектакле, который видели тысячу раз, и никто уже не помнит, о чём он. Правильные движения, правильные слова — и ничего живого внутри.

Я сказала об этом папе. Честно, как ребёнок: пап, я тут ничего не чувствую. Он ответил так, как ответил бы любой верующий человек на его месте: надо больше молиться. Наверное, что-то не так с тобой.

«Что-то не так с тобой». Это стало первым официальным диагнозом моей жизни.

Неофициальных потом будет очень много — мне их будут ставить учителя, мастера, ченелеры, я сама буду ставить их себе. Но этот был первым. И он засел глубоко: проблема не в том, что я не чувствую, — проблема во мне. Со мной что-то не так. Это убеждение ещё всплывёт в нашей истории не раз: на нём держится вся индустрия, из которой я потом выходила годами.

Я задавала эти вопросы и получала один ответ: так надо, так положено, не умничай. И каждый раз внутри поднималось тихое, упрямое: тут что-то не сходится. Объяснить я не могла. Чувствовала.

И вот что я поняла только к сорока. Ребёнок во мне знал за тридцать лет до всех моих дипломов. Чувству не нужны были аргументы — оно просто знало. А я приказывала ему замолчать, потому что взрослые голоса вокруг твердили: всё правильно.

Сколько раз потом это повторится — на сессиях, на посвящениях, рядом с уверенными учителями. Внутри поднимается «что-то не так», а я велю ему заткнуться, потому что все вокруг спокойны. Мне понадобилось тридцать лет, чтобы вернуть себе право верить своему чувству. А оно всегда было самым точным прибором из всех, что у меня есть. Но были и другие храмы.

Я нашла их позже, когда уже сама стала ездить, искать, бродить. Старые, далёкие, забытые — не там, где толпы, а где-нибудь в стороне от дорог. В них пахло не ладаном на продажу, а деревом и временем. Старым воском. Тишиной, которая копилась там столетиями.

И люди там были другими. Их было мало, и они не играли. Они просто были — искренними, тихими, настоящими. Старушка, которая моет пол. Человек, который стоит в углу и молчит. Никакого спектакля. Я заходила в такое место — и не хотела уходить. Могла сидеть часами. Меня будто отпускало. Здесь воздух был живой.

Прошло много лет, прежде чем я поняла, что искала всё это время. Не Бога в смысле догмы. Не церковь как организацию. Я искала искренность. Живое в живом. То состояние, когда человек или место — настоящие, без роли, без позы, без продажи.

Самым горьким открытием оказалось вот что: искренность — большая редкость. В церкви, в людях, в учителях, в целых духовных школах. Везде. Её так мало, что за неё готовы

платить любые деньги. На дефиците искренности построены целые индустрии. Я это узнаю изнутри — потому что сама буду в одной из них стоять и продавать.

Ребёнку, который сказал «я тут ничего не чувствую», ответили «значит, что-то не так с тобой». Так начинается путь человека, который всю жизнь будет искать снаружи разрешение доверять самому себе.

Глава четвёртая. Шишка

Меня уронили при рождении. Буквально выронили в родзале.

Что-то пошло не так, кто-то был неосторожен — детали уже не узнать. Результат был виден сразу: деформация черепа, два бугра там, где должна быть одна ровная голова. Родители это видели. Врачи смотрели, качали головой, разводили руками. С такой головой не рождаются. Такую голову ребёнку делают чужие руки. Мне её сделали в первую же минуту жизни — чьи-то торопливые руки.

Меня называли Шишкой. Не со зла — просто описательно, как называют вещи своими именами. Дети во дворе, взрослые, родня — все говорили это с той лёгкостью, с какой говорят об очевидном. Шишка идёт. Шишка сказала. И всем понятно, о ком речь. Прозвище прилипло ко мне на двадцать лет. Даже когда бугры сгладились и голова стала почти обычной, слово осталось. Оно жило дольше, чем сама шишка.

Я не любила это слово, но привыкла. А взрослой вдруг расслышала в нём то, что слышала вся родня: Шишка — это же «большая шишка». Та, что выбьется. В моё прозвище вкладывали надежду: вырастет великой. С этим грузом я и жила, с него и начался мой достигатор: я же Шишка, мне положено. Я должна закрыть все косяки рода. Должна стать богатой, успешной, важной — за всех, кто не смог.

Меня понесли к бабушкам-знахаркам. Так у нас было заведено. В нашем городе это была отдельная, параллельная система помощи, которая существовала вопреки всем больницам и поликлиникам. Когда официальная медицина разводила руками, шли к бабушкам. Они заговаривали, лечили, видели. К ним несли детей с тем, что пугало. Первая бабушка держала меня долго. Молчала. Что-то чувствовала своими руками. А потом сказала — ровно и буднично, как говорят о том, что знают наверняка. Как смотрят в окно и говорят, какая завтра будет погода:

— Через неделю эта девочка либо умрёт, либо возродится. Если выживет — будет особенной. Она пришла не просто так. Ни паузы, ни вздоха. Просто факт, который она видела так же ясно, как видят стол перед собой.

Я выжила.

И с этого дня мою жизнь начали писать другие. Не я. Бабушка сказала несколько слов над свёртком с деформированной головой — и эти слова стали сценарием, по которому я прожила следующие сорок лет.

Сейчас я знаю, что там происходило. И это знание стоит всех моих дипломов.

Когда взрослые смотрят на своего ребёнка и видят, что с ним что-то не так, — им больно. Настолько, что вынести нечем. И тогда включается единственное спасение: придумать историю, в которой с ребёнком всё так. Не увечье, а знак. Не беда, а избранность. Бабушка лечила. Только не мою голову — сердце моей мамы. Она дала моим родителям то, без чего им было не жить дальше: объяснение, в котором с их дочерью всё в порядке. Даже лучше, чем в порядке. Она особенная.

Вот где рождается магическое мышление. Не в темноте и не в глупости. Оно рождается там, где человеку больно, а вынести эту боль нечем. Мои родители не были дураками. Они были родителями, которым только что сказали, что с их ребёнком что-то не так.

Шишку мою так и не вылечили.

Вылечили боль вокруг неё — красивой историей. А платить по этому счёту досталось мне. Сорок лет.

Пророчество стало рамкой, в которой я росла. Воздухом, которым я дышала, даже не замечая его.

Я не выбирала эти правила — я получила их готовыми, ещё не умея говорить: особенная, пришла не просто так, будет больше всех в роду. Мне это повторяли мягко, любя, гордясь. И я несла это, как несут то, что положили на плечи в детстве: не зная, что можно положить обратно.

Ты когда-нибудь думал, что значит расти с историей о себе? Не «ты хорошая девочка», а — «ты выжила вопреки, в тебя вложено что-то особенное, ты должна это доказать всей своей жизнью». Сначала это тепло. Приятно быть избранной, той, за кем смотрят с особым вниманием. Это греет изнутри, как мягкий свет.

А потом ребёнок начинает считать.

Особенная — значит надо соответствовать. Надо доказывать. Постоянно. Чем? Никто не объяснил. Просто висит ожидание — размытое, но непрерывное, как фоновый гул, который слышишь, только когда он на секунду замолкает.

И запускается механизм, который потом будет управлять всем. Каждая пятёрка в тетради и каждая тройка в дневнике перестают быть просто оценками. Пятёрка — подтверждение: да, я особенная, бабушка была права. Тройка — тревога, почти паника: я теряю темп, я не та, кем должна стать, что я сделала не так? Каждая победа — доказательство пророчества. Каждая неудача — трещина во всей картине мира, в том единственном объяснении, которое придавало смысл и шишке на голове, и бабушкиным словам, и всему тому особенному воздуху детства.

Этот механизм стал двигателем. Я неслась вперёд. Бралась за всё. Не позволяла себе останавливаться — потому что остановиться значило проверить страшное: а вдруг я обычная? А обычной — нельзя. Обычная не вписывалась в пророчество, обычная подводила тех, кто в меня верил. Изнутри это ощущалось как сила. Я говорила себе: какая я целеустремлённая, как я люблю жизнь, сколько во мне энергии. И только спустя десятилетия призналась себе честно: это была не сила. Это был страх. Я всю жизнь бежала от страха оказаться обычной. От страха, что бабушка ошиблась. Что никакого пророчества не было, а была просто неосторожность в родзале. Что шишка — это просто шишка.

Намного позже я узнала из Вед, что моя дата рождения — это птица Феникс.

И, помню, замерла. Потому что это было точно про меня — точнее любого диагноза. Птица, которая сгорает дотла и рождается заново из пепла. Снова и снова, без конца. Так и прошла вся моя жизнь до сорока лет. Я рождалась и умирала, умирала и рождалась — переходя из одной системы в другую, из одной роли в следующую, из одного «теперь точно нашла себя» в новое «нет, вот теперь по-настоящему». Закрытая школа. Ченнелинг. Святая Троица. Горы. Каждый раз — новое рождение, новая я, новый пепел.

Я думала, это и есть моя особенность — гореть и возрождаться. И только в самом конце поняла простую вещь: птица Феникс не живёт. Она только и делает, что умирает и рождается. У неё нет обычной жизни между пожарами. А я хотела именно её — обычную, тихую, свою. Ту, в которой не нужно сгорать, чтобы почувствовать, что ты живой. Пока не научилась просто жить.

Самое тяжёлое бремя — не быть никем. Второе по тяжести — всю жизнь доказывать, что ты кто-то. Я несла второе с рождения и приняла его за свою силу.

С такой головой не рождаются.
Такое человеку делают другие люди.



Мне это сделали в первую же минуту жизни.

Глава пятая. Дом на перекрёстке

Была у нас тётушка. На старых фотографиях — настоящая красавица.

Такая красота, на которую оборачиваются. Соразмерное лицо, чёткие черты, и что-то ещё, чему нет названия — лёгкость, свет, особая стать. Я держала в руках эти чёрно-белые снимки и думала: вот она, настоящая красота. Не та, что бывает у молодых девушек просто от молодости, а та, которая остаётся.

Потом что-то случилось.

Рассказывали так. Она зашла в церковь — то ли помолиться, то ли по делу, теперь уже не вспомнить. И там к ней сзади подошла незнакомая старуха. Просто подошла, молча положила руку на плечо — и ушла. Ничего не сказала. Просто рука на плече и шаги прочь. После этого тётушка начала терять красоту. В тот же день. Не за годы, а сразу — будто с неё сняли то, чем она была всю жизнь. А потом начали умирать мужья. Сколько их было — не помню, много; я была ребёнком и не считала.

Первый. Второй. Третий. Разные люди, разные обстоятельства, разные причины — и один и тот же конец. Шесть мужей. Все умерли. Последний продержался дольше остальных — около года. Остальные не выдерживали и полугода рядом с ней. Это звучит как страшная сказка, но это была наша родня, наша жизнь, и об этом говорили за столом как о факте.

Тётушка жила в частном доме на перекрёстке.

В наших краях это значило многое.

Перекрёсток — плохое место. Так говорили все и всегда: на перекрёстках собирается нечисть, там сходятся дороги и сходится то, что по ним ходит. Дом на перекрёстке — это не просто адрес. Это приговор, который проговаривали вполголоса.

Дом был весь в иконах. От пола до потолка, на каждой стене, в каждом углу — их там было больше, чем в ином храме. Будто хозяйка пыталась загородиться ими, выставить стену из ликов между собой и тем, что приходило. Но это не помогало. Я чувствовала это сразу, как только входила. Я приходила туда ребёнком и почти физически ощущала, как что-то пьёт силы прямо из воздуха. Заходишь бодрой, полной, живой — а через час сидишь пустая, выжатая, будто из тебя вычерпали. Не устаёшь — именно пустеешь. Я тогда не знала слов для этого. Просто знала, что в этом доме мне всегда плохо, и не понимала, почему взрослые туда ходят как ни в чём не бывало. А ещё там были тёмные фигуры. Когда я оставалась одна в комнате, в углах что-то мелькало — не страшное, не нападающее, просто очень отчётливое. Краем глаза видишь движение, поворачиваешься — никого. Поворачиваешься обратно — снова мелькнуло. Я научилась не смотреть в углы того дома.

А в полночь начинался топот.

Ровно в двенадцать, как по часам. На крыше. Будто наверху ходит кто-то очень тяжёлый — или несколько кого-то. Не шорох, не скрип старого дерева, а именно тяжёлые уверенные шаги. Ритмичные. Как будто там, наверху, кто-то расхаживает взад-вперёд, не торопясь, похозяйски.

Потом к топоту добавлялся гул. Низкий, ровный, ни на что не похожий — не машина, не ветер, не вода в трубах. Звук, у которого не было источника. Он шёл словно из самих стен.

А потом всё затихало. Так же внезапно, как начиналось. Будто кто-то выключал. И так — каждую ночь. В одно и то же время. В обычном частном доме, на крышу которого никто не мог забраться незаметно, где всё было проверено сто раз.

Я выросла, объездила полмира, прошла закрытые школы, научилась многому. И я описывала эту историю самым разным людям — практикам, учёным, скептикам, верующим, просто умным и внимательным. Я искала объяснение, которое закрыло бы вопрос целиком. Мне

предлагали физику: ветер, особенности конструкции, акустика старого дома. Но это не сходилось с тем, что я слышала своими ушами. Мне предлагали мистику: сущности, перекрёсток, проклятие. Но и это не закрывало всё до конца. А кончилось всё вот чем. Под старость она перестала пускать в дом кого бы то ни было. Совсем. Ни родню, ни соседей — никого. Осталась одна среди своих икон, за запертой дверью, и там же умерла. От голода. Красавица с тех фотографий, на которую оборачивались на улице.

Вокруг говорили: вот, сглаз довёл, порча, перекрёсток. А я думаю про это иначе и скажу то, к чему ещё вернусь не раз. Женщина осталась одна, помутилась рассудком и умерла в запертом доме — и все объяснили это порчей. Не одиночеством. Не болезнью. Не тем, что к ней перестали ходить. Порчей. Красивое слово встало между людьми и тем, что было им по силам сделать. Скажу как есть: я не знаю, что это было. У меня нет ответа, в котором я уверена. Я не хочу притворяться, будто знаю, — этим я занималась слишком долго в другой своей жизни. Я знаю только одно: что-то там было. Это правда. И я научилась жить с тем, что не на всё в мире у меня есть объяснение. Это важная мысль, и я ещё вернусь к ней не раз. Признать «я не знаю» — гораздо честнее и гораздо труднее, чем дать красивый ответ. Вся индустрия, из которой я выходила, построена на том, что людям невыносимо это «не знаю». Им нужен ответ — любой, лишь бы заполнить пустоту. А я научилась оставлять пустоту пустой, когда честного ответа нет. Дом на перекрёстке научил меня двум вещам сразу. Что необъяснимое бывает. И что не каждое необъяснимое нужно объяснять — иногда честнее просто стоять перед ним и не знать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.